



Sasha Marianna Salzmann

Beside Myself

Novel

(Original German title: Außer sich. Roman)

366 pages, Clothbound

Publication date: 30 October 2017

© Suhrkamp Verlag Berlin 2017

Sample translation by Iryna Herasimovich

Этя и Шура

Натан с Валентиной были людьми очень образованными или совсем необразованными – по этому поводу в семье царили неоднозначные мнения. Если принимать на веру преподносимые с искренним пылом рассказы, они то ли принадлежали к интеллектуальной элите Одессы, то ли были нищими, то ли чем-то посередине – или и тем, и другим одновременно. Валентина, разумеется, была писаной красавицей и в кругу знакомых известна под прозвищем Екатерина II, столь благородной была ее наружность и такими золотыми руки: платье она, если верить преданиям, шила получше, чем в магазине, готовила, как..., да что там: лучше, чем в ресторане, а кроме всего прочего она была заместителем начальника всех детских садов в городе. Но сначала, еще в Балте, ее выдали замуж за Натана, с ним она и отправилась в процветающую, богатую Одессу, в этот Париж Восточной Европы, где Натан планировал обустроиться и зажить на славу – город-то ведь портовый!

Занимаясь домашними и детсадовско-руководящими обязанностями, Валентина между делом ещё выиграла конкурс красоты – тоже мне фокус, с её-то чёрными локонами и голубыми глазами – и составила книгу о здоровой украинской пище, содержащую бессистемную коллекцию её любимых рецептов, собственноручно вклеенных в тетрадку и передававшихся их рук в руки среди подруг и многократно переписанных

всеми женщинами города, весь город готовил а-ля Валентина. Поговаривали, некое издательство имело в планах книгу напечатать, и если и в самом деле дошло до этого, то эти перлы кулинарной мысли были утрачены в войну.

Валентина родила Этину, Этю, Этиньку – наипрекраснейшее дитя на земле, тут весь город был единоклубен. Тонкие Этиньки кудряшки обрамляли лоб, словно нимбом, и с младых ногтей судьба её была определена – этой девчужке назначено было стать тем, кого позже в мультфильмах будут называть супергероем. В то время Натан с Валентиной таких слов не знали, они просто вкладывали всю свою любовь, все силы и, прежде всего, все деньги, что оставались у них на жизнь в процветающем восточноевропейском Париже, в своё чадо, которое никогда не предавалось сну и якобы умело говорить с самого рождения.

На плечи всех детей, рожденных между первыми двумя русскими революциями XX века, был возложен груз – обязанность быть чем-то особенным, чем-то большим, чем просто кусок мяса в пелёнках, они должны были перевернуть мир, сделать его лучше, по крайней мере, в моей семье ожидалось именно это. То же касалось и Александра, Шуры, Шурика, кое для кого Саши, который появился на свет в какой-то из тех обременённых годов минувшего столетия и годы спустя взял в жёны Этину. А ещё чуть позже, после Великой Отечественной войны, Этина и Шура изменяют даты рождения в документах, чтобы выглядело пристойно: Шура сделает себя чуть старше, Этина – чуть моложе. Предполагаю, что изначально было наоборот, первой на свет появилась многообещающая Этина, но летоисчисление, как и всё остальное, после войны полетело в тартарары, потому чего уж тут – они написали в своих документах какие-то цифры, они могли поменять вообще всё, что угодно, но фамилии свои сохранили.

Шура, Саша, Александр Великий, хоть ростом и невелик, он, разумеется, тоже был парнем видным. Какой бы противоречивой ни была правда этих семейных историй и какой бы ни была их география – Одесса, Черновцы, Грозный, Волгоград, Москва, Германия, Германия, Германия, а потом Стамбул у гавани, где Като рассказывал мне про Одессу, но у всех этих преданий был один общий знаменатель: все представители семьи без исключения были очень красивы и очень умны – так о них принято было рассказывать. Но в случае Шуры это и в самом деле соответствовало

действительности, что подтверждается многочисленными картинами и фотопортретами, запечатлевшими его гордое, социалистически-реалистическое лицо – они и по сей день висят в музеях советской истории и на стене спальни у Вали. Той Вали, что в Нижней Саксонии, не у той Валентины, которая Екатерина II, в одесском бараке начала XX века. Портрет висит на стене у той Вали, которую называли в честь женщины-космонавта, хотя, может, немного и в честь той, что из Одессы, ведь ещё больше, чем в полёты человека в космос и в технический прогресс в целом, тогда верили в еврейские обычаи и в то, что детей следует называть именами усопших, чтобы предки покровительствовали им. Как бы не так!

На картинах в спальне у Вали, моей матери, в Нижней Саксонии, стало быть, изображено лицо мужчины с широким лбом и крупным, целеустремленным носом, кустистыми бровями и очень мягкими, полными губами, которые, несмотря на соцреализм, кажется, улыбаются, хотя уголки их и не приподняты. У Шуры были глаза лилового цвета, чего ни на черно-белых фотографиях, ни в соцреализме не видно – там их изображали голубыми, или серыми, или зелёными, иногда карими, но глаза у него были лиловыми, однако даже несмотря на это, завоевать сердце Этиньки оказалось совсем нелегко. А случилось это в медицинском институте, где они оба в возрасте семнадцати лет оказались рядом в списке тех, кто отличился особыми достижениями, – на доске почёта.

Список, висевший в коридоре между лекционным залом и кабинетом секретарши проректора, отражал, кто какие оценки получил и какими особыми достижениями на благо университета, науки и социализма отличился. Этинька шла под номером один, Шура – под номером два. Общественная активность у обоих была примерной, оба добровольно выступали с докладами, имели по всем возможным предметам исключительно отличные отметки, а особенно выдающимися были Этины успехи по предмету «история партии».

С того дня, как был вывешен список лучших, Шура задался целью найти виновного в том, что на доске почёта он идёт всего лишь под вторым номером – сомнений в том, что именно ему должно возглавлять список, у него не было; но, увидев Этиньку, которая прошла мимо по коридору, прижимая к себе медицинские учебники, и не удостоила его даже взглядом, увидев бёдра Этиньки и её шею, он принял решение бросить этой девушке вызов совсем иного рода.

Первые разы она проигнорировала его с такой лёгкостью, что смутила его и заставила задаться вопросом, может, и в самом деле не существовало его, перегородившего ей дорогу: в правой руке сигарета, а левая ворошит волосы. К тому, что ему дают от ворот поворот, он не привык: к лилоокому молодому человеку с мягким голосом барышни выстраивались в очередь. Опасалась ли Этинька неприятностей или же и вправду чем-то (или кем-то) другим были заняты её мысли, как бы то ни было, сокурсника Александра Фарбаржевича она ни в одном разговоре ни словом не упомянула, её тайной страстью он не стал, максимум вызвал в ней интерес, этот вечный номер два, которому никогда не удастся свергнуть её с трона, и в самом деле почти до конца учёбы они так и остались каждый на своей позиции. На лекции по анатомии она изредка бросала взгляд поверх переполненных рядов, и вот однажды, во втором семестре, их взгляды встретились, встретились случайно, без подготовки, Шура не хватило времени вложить в свой взгляд хоть какое-нибудь чувство, отправить послание на расстоянии, взгляд просто блуждал в поисках, на что бы отвлечься, — а Этинька уже и отвела глаза, снова смотрит в тетрадь, куда наверняка записывает мысли получше и поумнее тех, что были у него.

Шура захандрил от любви. Но и этого слова в то время под рукой у него не было, оно войдет в моду позже. В то время говорили о душевном томлении: «душа болит», говорили о муках, но тут нужно знать, что русские или, точнее, русскоговорящие, видят всё несколько радикальней, потому что радикальнее выражаются. Они не говорят: «мне нравятся яблоки», они говорят: «я люблю яблоки». Они не говорят: «я в браке», они говорят «я жена-т» или «за-мужем». Мать мужа они называют свекровь — «своя кровь». Говорящие на русском не просто не любят дождь, они его ненавидят. Соответственно, когда в грудной клетке появляется тянущее ощущение, говорят о сердечной муке. Именно в такое состояние и погружался Шура. Он не мог спать, не хотел есть, курил в три раза больше обычного, и мать только качала головой, замечая круги у него под глазами.

– Что с тобой, уж не заболел ли?

– Да нет, экзамены, слишком много.

– Сдашь ты свои экзамены, ты же лучший. Лучший ведь, правда?

Шура долгое время внушал себе, что он и правда был лучшим, а бессонница у него из-за того, что другой человек — девушка! — оспорила

его титул первого номера, причём не флиртуя с профессорами и не списывая. Эта большеглазая Этина без единого социалистического изъяна, с заколотыми на затылке волосами и бёдрами вдвое шире плеч, казалось, легко обходилась без него, Шуры. Мысли его блуждали, кружили вокруг задетой гордости и зависти и запутывались в Этиных бёдрах. Короче, он решил преподнести ей подарок.

Сразу после того, как был обновлен список лучших из лучших медицинского института (где не было никаких сюрпризов, нижние позиции поменялись, четыре верхние остались неизменными), Шура, прислонившись к стене между лекционным залом и секретариатом, перевязанная красной лентой коробка в руках, ждал, пока первый номер придёт проверить своё имя списке.

На Этиньке был пиджак с юбкой и коричневые туфли, которые, несмотря на средний каблук, не издавали никаких звуков. Волосы заколоты на затылке, лицо спокойное и бесстрастное, будто она идёт по пустому коридору, где кроме неё ничего нет: ни острого запаха формалина, ни Шуры, ни даже этого проклятого списка лучших студентов. Прижимая к себе стопку книг, она шла, словно на финишной прямой. Поравнявшись с доской почёта, остановилась и сперва повернула в сторону списка голову, а потом и всё тело. Оказавшись подле Этины, Шура откровенно разглядывал ее, ведь для неё он, похоже, был пустым местом.

Когда она собралась было двинуться дальше, он произнёс: «Mazal tov».

– Что? – голова Этиньки повернулась в его сторону со стремительностью, которой, несмотря на собранные на затылке волосы и походку, он от неё не ожидал.

– Ты снова номер один. Mazal tov.

Он протянул ей плоскую коробочку, которую держал в руке.

– Я не понимаю.

Этинька и вправду не понимала. То есть не «mazal tov», это-то она понимала, в семье часто говорили на идише, и она могла бы без труда поддержать беседу с Шурой, может быть, не очень бегло, но всё же достаточно уверенно, ей просто было непривычно слышать этот язык за пределами своих четырёх стен, а уж в институте и подавно. Она не понимала, почему этот невежа, который так очевидно ухлёстывает за ней и, когда она идёт по коридору, постоянно неуклюже торчит у неё на пути,

раскрыв рот, будто собирается что-то сказать, но не говорит, который гуляет со старшекурсницами и смешит их и Бог ведаёт что ещё (она была не такая, это решение она приняла уже давно)... в общем, почему же этот вечный второй номер протягивает ей сейчас какой-то свёрток с красной лентой.

– Это тебе. В знак признания.

Шура сглотнул, следя за тем, чтобы подбородок не опустился вниз. Он поднял голову, его лиловые глаза сияли навстречу Этиным зелёным.

– Спасибо. Я не могу это принять, – сказала Этинька или что-то в этом роде, во всяком случае, это был от ворот поворот. Руками она по-прежнему прижимала к себе книги.

– Нет, ты должна.

Шура стоял, протянув руку, широко распахнув глаза, будто пытаюсь загипноотизировать её. На секунду ему захотелось, чтобы она никогда больше не смогла отвести глаз, никогда-никогда, но она смогла, отвела взгляд в сторону, причём безо всяких усилий, посмотрела ему в лицо, потом на подарок, потом в пол, потом на часы на стене, потом снова на доску со своим именем в самом верху списка, выдохнула и снова произнесла что-то вроде «нет, спасибо, очень мило с твоей стороны, пойду я уже». Что-то такое.

– Ick bet dikh. Возьми!

Идишь снова привлёк её взгляд к нему, из её глаз полетели молнии, глаза прищурились, она сердилась, сердилась на себя, потому что заметила, что ничего подобного и вообразить бы себе не могла: не то что товарищ Фарбаржевич еврей, тут имя говорило само за себя, нет, она была поражена, что он осмелился заговорить на идиш. Громко. В институте. С ней. И вот её взгляд на какое-то время остановился на его лице, этого времени как раз хватило, чтобы заметить, какой лиловой была радужка вокруг его зрачков и каким насыщенным был этот лиловый, так или иначе, она клюнула, протянула руку и взяла подарок. Положила коробочку на стопку книг, которые держала перед собой, и выжидающе посмотрела Шуру в лицо.

– A sheynem dank. Du bist zeyer khaverish.

У Шуры закружилась голова. Стало дурно. Стало дурно и закружилась голова от запаха этой девушки, сладковатого и освежающего, как мята. Вот она стояла перед ним и уже не могла игнорировать его, и вот как, значит, выглядит её лицо, когда она не просто проскальзывает мимо.

Наконец-то перед ним не профиль, так хорошо ему знакомый, перед ним — её глаза и усмешка в них.

– *Voz iz es?* – спросила она, слегка склонив голову.

– Это...

Пройдёт время, и он будет рассказывать эту историю как хохму, будто бы он, смельчак, всё точно распланировал, зная, как произвести впечатление на женщин, как смутить, мол, захотелось ему позволить себе такую шутку, будто он точно знал, на что шёл, но тогда, в тот момент, он понятия не имел, почему так сказал, причём на русском, столь деликатного слова на идише он не знал.

– Трусики.

Нижнее бельё. Трусы. Трусики. Вот что он сказал, точнее, вот что лёгким хлопком сорвалось у него с губ. Бряк, бах – и сорвалось, и зависло между двумя лучшими студентами Одесского медицинского института, имена которых в своё время станут гордостью этого учебного заведения, а их портреты украсят стены коридора, в котором они стояли друг перед другом. Но всё это случится потом, а сейчас у обоих перехватило дыхание.

В те времена в медицинский институт нельзя было поступить сразу после десяти классов средней школы. Сперва социалистический человек отправлялся на завод или на фабрику, чтобы приобрести рабочую профессию. Шура перед поступлением учился на столяра – умение, о котором он ни разу не пожалел. Позже, уже в пятидесятых годах, когда война осталась в далёком прошлом, а победа казалась вечной, на своей даче на Волге он проводил время, вырезая леших и домовых, пока его жена Этина и дочь Эмма и её дочь, в один прекрасный день объявившаяся с близнецами, которых по очереди катала на качелях, занимались помидорными и огуречными грядками да виноградом. Он искусно вырезал фигурки из дерева и раздаривал их всем друзьям, а ещё как-то раз смастерил хлебницу со сложным цветочным узором по краям, а на крышке вырезал слово «хлеб».

Закончив учиться на столяра, но ещё не поступив в медицинский институт, он стал актёром. То есть планировал стать. Хотел писать пьесы, быть режиссёром и сам же вырезать декорации к своим спектаклям. Он тайком отправился на вступительные экзамены в Одесское театральное училище. До этого он несколько недель репетировал в родительском саду роли, а если мама, бывало, интересовалась, что он там всё бормочет, Шура не признавался, что Шекспира, говорил: историю партии. Лишь когда он

оказался в фойе училища среди молодых людей, сплошь в костюмах да при галстуках и девушек в платьях да с накрашенными губами, мужество оставило его: он окинул себя взглядом, и позже, в мемуарах, зафиксировал своё впечатление о себе следующим образом: неказистый парень с одесской Молдаванки – квартала, прославившегося бедностью да уголовщиной, а потом ещё и Исааком Эммануиловичем Бабелем.

На вступительные экзамены в театральное училище Шура явился в жилете из овчины поверх рубашки и в кепке. Он во все глаза смотрел на галстуки своих конкурентов, осознавая, что его отец-раввин никогда бы не смог научить его завязывать такие узлы. Он пялился на губы девушки напротив, та сидела, закинув ногу на ногу, и её юбка сантиметра на два приоткрывала бёдра. Шурины ладони вспотели и оставляли влажные следы на исписанных листах, в которые он вцепился. Губы девушки беззвучно двигались, похоже, она повторяла одну из подготовленных на экзамен ролей — губы были цвета алого пионерского галстука. Шура прикидывал, как бы выбраться из помещения, чтобы никто не заметил его эрекции. Он не мог двинуться ни вперёд, ни назад, сидел на стуле, сжавшись, как пиявка, пока его не вызвали по имени, и он, в этом же возбужденном состоянии, с мокрым от слёз лицом, продекламировал дикую смесь из Шекспира и истории партии перед всей приёмной комиссией, после чего его, так сказать, с улицы затащили на сцену, где его, мол, ждало большое будущее. Так гласит легенда.

В блаженном состоянии и до нитки вспотевший, он прибежал домой поведать отцу о предстоящей карьере театральной звезды, а тот закрыл дело без промедления одной фразой: «Балагул у нас не будет. Никогда». Точка.

Шура не знал этого слова. Его идиш был в зачаточном состоянии, знаний хватало на незаконченные предложения и флирт, и всё же он понял, что хотел сказать ему отец, позже посмотрел слово в словаре, не такое уже оно и плохое оказалось, как он изначально подумал: балагула, от ba'al-'agala, это владелец повозки, которая ездит по деревням, развозя товары и людей, человек, поющий песни, славя своих лошадей, а после и чтобы повеселить сельчан на базарной площади. Пьяный бродяга, у которого ни дома, ни семьи, который только и умеет, что пить да есть. Клоун, бродячий артист. Но у Шуры и не было в планах становиться кем-то таким, ему ведь хотелось Шекспира, но чтобы убедить в этом отца, его идиша было недостаточно. Так что он пошёл на медицину.

Этина тоже училась ремеслу, какому именно, существует множество предположений, во всяком случае, какому-то солидному, чему-то, что могло пригодиться всегда и в любой жизненной ситуации – так уж было принято тогда, государство заботилось о том, чтобы человек оставался человеком, пояснили мне Этина с Шурой. А когда я уточнил, имело ли когда-нибудь, при получении профессии или потом, в институте, значение, что оба они евреи, никого ли не смущало, что именно два еврея возглавляют список лучших студентов и списки в других областях, где государство давало человеку возможность быть человеком, то они отвечали: до войны — нет.

Они утверждали, что Сталин не был антисемитом, вот русские, украинцы, молдаване, те да, а Сталин нет, он же сам был человеком с Кавказа, антисемитская пропаганда лишь после войны получила возможность вылиться из людских сердец на улицу, только после 1953 года, после того как Советский союз возопил, мол, евреи убили Иосифа Виссарионовича Сталина. Еврейские врачи, такие как Этина Натановна Водовозова и Александр Исаакович Фарбаржевич.

Но за много семестров до того, как стать врачами, они стояли друг напротив друга в Одесском медицинском институте, между ними – перевязанная красной лентой коробочка, по поводу которой один из них утверждал, что внутри-де нижнее бельё. Мы с вами говорим о 1936 годе, мы говорим о Советском Союзе, где любовные отношения из-за жилищной ситуации и веры в вещи более высокие, чем плотское вожделение, ограничивались прогулками. Ну ещё за руку можно было как-нибудь взять. Большого Шура не знал.

Он, человек, который никогда не повышал голоса, человек, который не особенно вышел ростом, с плавными движениями и широкими плечами, с глазами лилового цвета и лбом, в котором можно было увидеть своё отражение, никогда не был ловеласом, даже если создавалось такое впечатление, потому как множество женщин, не только молодых, искали его общества. Он много читал и писал, прежде всего писал, поскольку верил: подлинный социалистический долг каждого человека на этой планете заключается в том, чтобы стать счастливым, а именно процесс письма приносил ему наибольшее счастье, пока он не увидел Этиной шеи, и однажды, гораздо позже, письмо снова станет для него опорой, когда ему покажется, что он уже вдоволь насмотрелся на Этю.

Этя, которая до того момента не давала соблазнить себя даже на прогулку с мужчиной, в мгновение ока покраснела, как звезда.

Ей не хватала воздуха. Почему-то она услышала, как кричит её мать, а перед глазами встало то утро, когда они вместе шли мимо магазина Рабиновича и Этя показала маме красные туфли на среднем каблуке. Она уже давно положила на них глаз и теперь робко поинтересовалась, нельзя ли ей будет когда-нибудь такую пару, когда она сама накопит на них денег. Мать замахнулась, не попала по лицу, но была очень близка к этому, закричала, что подобного в её семье не будет, так что Этина Натановна побежала по улице, преследуемая собственной матерью, которая теперь, не стесняясь в выражениях, проклинала дочь за все свои жизненные неудачи, вплоть до участвовавших в последнее время приступов мигрени.

Всё это вдруг встало у Этинки перед глазами и в ушах, когда она в упор смотрела на коробочку, которая лежала сверху на стопке медицинских учебников, и слёзы уже почти выступили у неё на глазах, но так и не показались. Этот невежа, эта неотёсанная обезьяна, этот fershtinkiner никогда, никогда не увидит её слёз, в этом не могло быть сомнений, вообще никто не увидит, но уж этот и подавно, и вот она преувеличенно спокойно взяла коробку и бросила её на пол ему под ноги, развернулась на средних каблучках своих коричневых туфель и, исполненная достоинства, двинулась, словно баржа, которую тянут на буксире, по коридору в том направлении, откуда пришла, не слишком быстро и не слишком медленно. Будто ничего и не случилось.

С того момента дела у Шуры пошатнулись. Он зарылся в книги, беспрестанно писал, писал, писал, запретил себе прикасаться к стихам о любви, увещевал себя, никакой он, мол, не номер два, как-никак комсомольский вождь — руководит институтской организацией Ленинского коммунистического союза молодёжи. Именно его делегировали на съезд в Киев от всей Южной Украины. Он был из тех людей, о которых когда-нибудь станут слагать легенды, так к чему тратить время на девушек, амурные дела могут себе позволить лишь те, кто никаких других целей в жизни не имеет.

Он организовал театральный кружок, писал пьесы о Дзержинском, бранил своих сподвижников, называя врагами революции, если те

опаздывали на репетицию или произносили написанные им реплики с недостаточным пафосом. Шура принял решение стать известнейшим в Союзе кем-бы-то-ни-было. На меньшее он был не согласен.

После эпизода с коробкой, перевязанной красной лентой, Этина не могла думать ни о чём, кроме Шуры и его, как она считала, циничной ухмылки; всем подругам она поведала, какой невоспитанный, несоциалистический идиот этот Фарбаржевич, ни в коем случае нельзя с ним связываться, вся его манера держаться, мол, свидетельствует о хитрости и безвольности, очевидно же, что он жалкий неудачник и, без сомнения, женоненавистник, и так часто она это рассказывала, что в один прекрасный момент подруги поинтересовались, а не испытывает ли она всё же к этому Фарбаржевичу каких-либо чувств, в ответ на что она собрала вещи и, покинув кафетерий библиотеки, вышла на улицу: зашагала по улице Коминтерна, потом свернула на Приморскую, пошла дальше к порту, к Потёмкинской лестнице и по ста девяноста двум ступенькам спустилась вниз. Лишь один раз она остановилась понаблюдать за примостившимися с краю лестницы пионерами, мальчиком и девочкой в школьной форме, которые обменивались стеклянными шариками, при этом слишком часто соприкасаясь коленками.

Спустя несколько месяцев на занятии по хирургии, где будущим медикам на трупе демонстрировали, как зашивать брюшную стенку, Шура заметил, что Этина смотрит совсем не на искусно согласованные движения рук и нитей и не на головы в цилиндрических операционных колпаках, а на него. Лучистые зелёные глаза были обращены к нему, и она не отвела взгляда, когда он повернул голову в её сторону, чтобы не косить.

Ночью он лежал без сна, подушка стала мокрой от пота, ступни зудели, грудная клетка вздувалась, он сел и принял решение. Потом, спотыкаясь, добрёл в темноте до письменного стола и изверг всё, что до сих пор держал в себе, на бесчисленные листы бумаги. Писал всю ночь напролёт.

Утром он не стал поджидать Этину в коридоре, а пошёл её искать, искал, пока не нашёл, подошёл прямо к ней и спросил, почему она против творчества великого поэта Маяковского, что-де он ей плохого сделал. В ответ на её ошарашенное молчание немедленно пояснил, мол, именно это и было в той коробке с красной лентой. Стихи Маяковского. И едва

переведя дыхание, Александр Исаакович спросил Этину Натановну, не выйдет ли она за него замуж, и почти так же быстро она ответила «да», застыдилась, но взгляда не потупила, потому что так была научена — не потуплять взгляда, что бы ни произошло: социалистический человек глаз не опускает.

В 1939 году они вместе с отличием окончили институт, потом пришла война. «Если Россия окажется разбитой, последняя надежда Англии угаснет. Властелином Европы и Балкан тогда станет Германия». Что за этим последовало, известно.

Шура с Этей не хотели говорить со мной о военных годах. Когда я спрашивал, они в очередной раз рассказывали мне, как познакомились, каждый раз озвучивая новую, совершенно непохожую на прежние версию. То, что я знаю о войне, я знаю по большей части из Шуриных мемуаров, которые он писал гораздо позже, по памяти, когда уже не мог отличить ложки от шариковой ручки. Как-никак целое столетие на ногах, плюс-минус пару лет. Поскольку свидетельства о рождении частенько переписывались, наверняка никто не знал. Помню только, что мы успели отпраздновать его столетие, прежде чем он навсегда закрыл свои до последнего бдительные очи. До конца своих дней он записывал на удивление светлые мысли ложкой на скатерти.

22 июля 1941 года Шура из окна квартиры приятеля, у которого как раз гостил в Балте, откуда были родом Этины родители, наблюдал, как по главной улице движутся танки, подняв взгляд, он увидел немецкие самолёты-разведчики. Вскоре полетели и первые бомбы.

Балта была очень зелёным городом, и за считанные минуты деревья запылали, и градом посыпались кирпичные осколки, дом, где находился Шура, уцелел; выскочив на улицу, Шура попытался пробраться к больнице, где как раз дежурил его друг, врач. Он перешагивал через корчившиеся или уже переставшие корчиться тела, над самой головой его самолёт стрелял во всё, что движется, и в Шуру в том числе. Пока он добрался до больницы, ту уже разбомбили, но карета скорой помощи, неповрежденная, стояла на стоянке, он отыскал спрятавшегося в кустах водителя и тряс его, пока тот не согласился отправиться с ним подбирать раненых и отвозить их в другую, отдалённую больницу.

Шура пытался затаскивать раненых в карету, но у него не получалось, водитель отказывался выходить из машины. Шура увидел

человека, вжавшегося в выбоину в стене, подбежал к нему и попросил помочь. Вместе они колесили по городу, загружали, выгружали, а в поликлинике на окраине города пожали друг другу руки, пообещав встретиться вновь.

В тот день, 22-го июля, объявили: немцы наступают, они уже на подступах к Балте, и кто не хочет попасть в плен или оказаться в осаждённом городе, пусть немедленно покидает Балту, оставив всё своё имущество.

Шура добрался до Одессы в крытом кузове грузовика АМО-Ф-15, лежавший рядом с ним человек всю дорогу зарывался лицом в Шуриного пиджак. Шура бежал к своей квартире, не видя города, он не мог бы сказать, узнал ли он Одессу, разбомблены ли улицы, разрушены ли дома, Шура не видел ничего, кроме дороги к своей квартире, где он заберёт беременную жену и уедет с ней, увезёт её, к родственникам, дальше на Восток. Квартиру он застал пустой, вся мебель и прочие вещи на месте, но нигде ни следа Этины. Она ушла, не взяв с собой ничего из вещей.

Сосед, которого он за ворот вытащил из квартиры на коридор и чьё проспиртованное дыхание обжигало Шуру лицо, сказал, что тоже ничего не знает, несколько дней уже не видел Этю, понятия не имеет, но, понятное дело, сейчас все спасаются бегством, и Шура чуть было не перебросил его через перила, но вместо этого швырнул назад в квартиру и выбежал на улицу. Он собирался обежать друзей, одного за другим, Этина может быть где угодно, оно и к лучшему, с чего ей на таком сроке в одиночестве торчать в квартире в центре города, ожидая его? Он собирался мчаться стрелглав, но ноги у него онемели, и с каждым шагом он всё меньше понимал, как ставить ногу, чтобы продвигаться вперёд. Он шёл всё медленнее, более двух суток он ничего не ел и почти не пил, ему ясен был диагноз — откуда у него это головокружение, он понимал, что ему срочно нужна вода, только бы дойти до какого-нибудь магазина или общественного туалета, но как дойти, если не воспринимаешь ничего вокруг. Он волочился по улице, которая чем дальше, тем больше расплывалась, теряла очертания, он держал курс на самую отдалённую точку, на которой смог сосредоточиться. Он чувствовал, как ветер обдувает голову, но не охлаждает её, а лишь треплет волосы, обжигает уши, он не мог бы сказать уверенно, началась ли бомбардировка Одессы или солнце пригибает к земле его голову.

Когда улица стала прогибаться, будто слишком туго натянутый лук, Шура сел на тротуар и уставился перед собой. Указательным и средним пальцем правой руки он измерил себе пульс на сонной артерии и попытался дышать ровно, при этом в нос и глотку ему ударил едкий смрад мочи. Потом что-то стало царапать его голень, рвануло и зашевелилось в брючине. Под ногами зашуршало. Крысы — была его первая ясная мысль.

Он посмотрел под ноги. Земля кишела серыми тварями, но это были не крысы, а котята, величиною с палец, которые кишели вокруг него, ползли по нему, под брюки и под рубашку. Он вскочил и стал отряхиваться, и тут заметил, что на тротуаре, наблюдая за ним, стоит женщина. Женщина, укутанная таким множеством платков, что за ними не разглядеть ни её лица, ни тела. Ростом она была ниже Шуры, но под горой ткани выглядела гусеницей в коконе, которая медленно придвигалась к нему. Она протянула к нему свою ворсистую руку и хлопнула его по спине, взялась выколачивать его, будто пыльную подушку. Она бормотала: «Ничего, ничего, мальчик мой», — или что-то в этом роде, сквозь платок, закрывающий её рот, Шура различал только невнятные звуки. Сбив с его тела последнего котёнка, она схватила его за руку и сказала: «Пойдём со мной». Шура взглянул на огрубевшую, будто покрытую дубовой корой, ладонь, корнем обвившуюся вокруг его запястья, потом в ясные голубые глаза под пёстрыми платками, на мгновение ему показалось, что он падает в обморок, тут один котёнок укусил его за голень, он вскрикнул, вырвался и помчался прочь.

Этина была у Хавы с Романом. Она безмятежно сидела за столом и пила чёрный чай с айвовым вареньем, когда на кухню ворвался Шура. Волосы у него торчали во все стороны, одежда выглядела так, будто её раздирали весь немецкий вермахт, на брючине была кровь. Он не мог произнести ни слова, одни звуки, пальцем он показывал на дверь, на окно, на Этину и опять сначала, тыкал пальцем в пространство. На улице было тихо и жарко, солнце через окна прокрадывалось на кухонный стол, на паркетный пол и на Этину щёки. Она поставила стакан на стол и, левой рукой поглаживая живот, попросила своего мужа сесть и для начала чего-нибудь съесть. Она решила, что ничто не испортит ей радостного ожидания этого ребёнка, ничто на свете, ни война, ни муж, очевидно утративший рассудок, ни наступающие немцы.

После нападения вермахта на Советский Союз врачи были востребованы, как никогда. Когда Шуру назначили начальником эвакуационного госпиталя, ему было двадцать пять лет, и пришлось в срочном порядке обзаводиться авторитетной внешностью, чтобы пациенты не пристрелили его раньше, чем он их заштопает. Он отпустил бороду и густые усы, чтобы казаться старше, и курил, сколько мог, чтобы голос огрубел, возмужал, стал более вульгарным и жёстким, чего ему за всю жизнь так и не удалось достичь.

И наркотики не сделали его ни старше, ни жёстче, ни вульгарнее. Вскоре к кавказскому табаку, пожирающему слизистую, добавился кофеин в таблетках, и выпивал он тоже, но немного, больше для дезинфекции полости рта. В его распоряжении было не так много возможностей одурманить себя, обезболивающих на фронте не было, ни для пациентов, ни для врачей, но позже, получив доступ к всевозможным лекарственным средствам, он все их перепробовал и всё равно остался мягким, слегка медлительным человеком с голосом, который хотелось слушать и слушать бесконечно.

Говорил он негромко, но звучно, выговаривал каждое слово до конца, как заправский актёр, ставил ударение на последние гласные, следил за мелодикой фраз и выработал у себя знающее выражение лица. У пациентов вызывали доверие его сросшиеся брови, выдающийся нос, серьёзный, сосредоточенный взгляд. Они не могли поверить, что человек, который так смотрит, а говорит, будто декламирует социалистическое стихотворение, не спасёт их от некроза. Часто он мог оправдать их надежду лишь наполовину, а то и меньше, но надежда ведь и не для того существует, чтобы её оправдывали, она наполняет человека задаром и обходится во столько, во сколько обходится, ни больше, ни меньше.

Будучи начальником эвакуационного госпиталя, он управлял штатом из пятнадцати врачей и целой армией медсестёр и добровольцев, которые сновали туда-сюда, как муравьи, с усердием, но и с осознанием того, что в любой момент их могут раздавить. Шуры это не касалось. С тех пор как он убежал от женщины-гусеницы с котятами, с тех пор как он нашёл Этину за столом на кухне у друзей, с тех пор, как полыхала Балта и всё остальное вокруг, внутри у него что-то захлопнулось, какой-то люк, такое было ощущение, захлопнулся с такой силой, что отзвук ещё долго стоял у него в ушах, он слышал металлический звук удара крышки люка

где-то на уровне адамового яблока, ощущал вкус отголоска под языком, и с тех пор он лишился одного из исконных инстинктов человеческого существа. Здесь, посреди войны, он осознал, что не в состоянии испытывать чувство, которое будто парализовало всех остальных: страх.

Он не испытывал страха, видя раненых, умирающих под его руками, не испытывал страха, когда родилась его дочь, у которой была затем констатирована клиническая смерть, и не испытывал страха перед осложнениями в будущем, когда Эмму реанимировали. Он не испытывал страха, когда его жена с ребёнком и отцом бежали от наступающих немцев и когда узнал, что тесть никогда не оправится от пули, угодившей в него, когда он закрыл своим телом новорожденную.

Шура слышал все эти сводки с фронтов, слышал о злодеяниях армий, и, оказываясь лицом к лицу с последствиями, врачую их, он излучал покой, который казался чуть ли не опасным. Этот покой сбивал с толку и вызывал зависимость, потому что Шурины реакции не соотносились с миром, который рушился вокруг него. Его зрачки никогда не расширялись, точнее, они всё время были расширены и покоились на говорящем, проглатывая его с кожей и костями, и кто может знать наверняка, были ли тому виною наркотики в его крови или некое психопатологическое расстройство, некая травма, шок или же своего рода паралич.

«Пожалуй, важно отметить, — писал Шура в своих мемуарах, — что отсутствие страха совсем не означает отваги».

Он находился в непосредственной близости от фронта, немного позади. Ежедневно прибывали составы с ранеными, случались дни, когда прибывало до двадцати вагонов, наполненных орущими полутрупам, которых приходилось оперировать прямо в поезде, под наркозом, если таковой был в наличии, или без него, после чего всех, у кого был шанс выжить, теми же составами отправляли дальше на восток, в тыл, и кому удавалось туда добраться, тот становился героем войны.

Говорят, Этина с Шурой творили чудеса, говорят, они спасали детей, поигравших с гранатами, сшивали их, гладили по головке и отпускали в славное будущее. Говорят, они участвовали в решающих сражениях против немцев, во время которых, неизменно обеспеченные пенициллином, но без обезболивающих, оперировали сутками напролёт, в последнюю минуту спасали от неминуемой смерти важнейших снайперов

и так внесли свою лепту в исход Сталинградской битвы, определив дальнейшую судьбу Советского Союза а тем самым и всего мира. Говорят, Шура лечил и спас даже одного немецкого офицера, с какой стати — неизвестно.

Сохранились снимки, где Шура запечатлён с Афанасьевым, не с тем, который был собирателем и издателем русских сказок, а с тем, что из дома Павлова — жилого дома, который на протяжении двух месяцев выдерживал атаки 6-й германской армии, разбитый снарядами фасад которого и сегодня, торчит подгнившим куском сыра, напоминая о былом. Короче говоря, не исключено, что мой прадед и моя прабабка на передовой отстаивали нерушимость мира и вели руку знаменитого сталинградского пехотинца Афанасьева, оба одновременно. Может быть. Другая версия истории гласит, что Афанасьев обратился к Шуре уже после войны, после двенадцати лет слепоты, операция прошла успешно, обретший зрение Афанасьев прямо с операционного стола бросился к Шуре в объятия со словами: «Я вижу! Вижу!»

Так или иначе — они были дружны, о чём свидетельствуют чёрно-белые фотографии, одна из которых стоит на моём недействующем камине. На этом снимке они что-то чертят палками на земле, будто Афанасьев показывает Шуре что-то очень важное на скудном приволжском песке. Оба в фетровых шляпах и длинных пальто, низко склонившись над наброском будущего. Фотография сделана в шестидесятых годах, и можно подумать, что это сцена из какого-нибудь спектакля по пьесе самого Шуры.

Находятся и люди, утверждающие, мол, никаких чудес не было, а в войну и подавно, после войны — возможно, но не в Советском Союзе. Никого не спасали, и никакие обезболивающие не помогли бы от того, что им довелось повидать и пережить, ни пенициллин, ни волшебство. Многие погибали, большинство. Как Шуре с Этей удалось выжить, — это лишь обрывки воспоминаний, которые они бормотали в свой чёрный чай. Они шумно прихлёбывали его, и воздух, обволакивавший наши головы, пах бергамотом.

После войны Шурина рота осталась в городе Сумы, недалеко от Харькова, но очень далеко от Одессы. Здесь его пригласили в отдел здравоохранения консультантом и главврачом, а вскоре он последовал зову партии в Черновцы.

Приглашение выглядело следующим образом: приезжайте в Черновцы и выбирайте любую квартиру, какую захотите, любой площади, всё в вашем распоряжении вплоть до пятикомнатных квартир бывших генералов в старинных зданиях с высокими окнами — о чём Этинька всегда мечтала. Или шикарные дома на окраине города, новостройки предвоенного времени, всё пустует, приезжайте и выбирайте!

И вот они приехали и, оказавшись на месте, выяснили, что все господские квартиры и роскошные дома, разумеется, заняты, теперь в них жили партийные функционеры, и откуда они только появились так быстро, повыползали изо всех дыр, заполонив прекрасный город Черновцы, так что Эте с Шурой и их дочурке Эмме досталась всего лишь квартира вдали от реки Прут с маленькими окнами и видом на стену соседского дома. И Этя сказала: «Нет». Со всей решительностью закачала головой и устроила грандиозный скандал. Слишком явственно рисовала она себе в мечтах новую квартиру, слишком непоколебимой была её воля никогда больше не жить в нечеловеческих условиях, как во время войны: без лекарств для ребёнка, часто без крыши над головой, посреди чистого поля безо всякого укрытия, где и спали, и блевали, и в туалет ходили, и ребёнка пеленали.

Она скандировала свои требования, пока для них не нашлась квартира в центре. С двустворчатыми дверями между тремя просторными комнатами и с окнами, выходящими в парк, до реки теперь можно было идти пешком. Первый секретарь обкома партии жил в квартире над ними с точно такой же планировкой.

Так что именно Этинька добилась того, что её мужу и всей семье выделили подходящую квартиру, в которой она его, правда, редко видела, ведь он сражался в больнице с типичными недугами послевоенного времени: зобом и туберкулёзом. Шура видел во сне прекрасные комнаты с высокими потолками и деревья под окнами, когда случалось прикорнуть на кушетке в дежурке, он использовал слово «дом», когда рассказывал об этом Этиньке, и она думала: одно уже это, пожалуй, кое-чего стоит.

Тогда же Шура возглавил областной отдел здравоохранения, он заступил на этот пост со страстью и идейной убеждёностью, которые лишь незначительно поубавились и после 1953 года, когда вся партия была убеждена в том, что на совести его и таких, как он, смерть Иосифа Виссарионовича Сталина. Десятками арестовывали его коллег, но Шуру до самого конца ничто не могло отвлечь от веры в социализм. Слепцом

он не был, он видел, что происходило вокруг, он знал, что если бы в 1952 году председатель московского партбюро КГБ не дал понять, что ценит его работу, его гипнотизирующую улыбку, его манеру держаться в целом — Шура умел нравиться, несмотря или как раз благодаря отчеству Исаакович и фамилии Фарбаржевич, — то и ему довелось бы делить камеру со своими еврейскими коллегами, по пятнадцать, а то и по двадцать человек в комнате.

Комната — так говорил сам Шура. Эту комнату он мне описывал во всех подробностях. Подробности он знал от своих коллег, повидавших эти «комнаты», то есть он пересказывал то, что пересказывали ему, и все эти пересказы были похожи на один фильм, который значительно позже все смотрели по советскому телевидению. Я не испытывал недоверия к Шуру, я знал, что он никогда не стал бы намеренно приукрашивать прошлое, оставившее столько морщин на его мягком лице, я испытывал недоверие к образному языку, на котором он рассказывал, потому что я в принципе не доверяю своему родному языку. Потому что он настолько лучше мира, из которого происходит, он красочнее и значительнее любой возможной реальности.

Знак от председателя партбюро, который уберёт его от «комнат», Шура описывал подробно. Этот знак выглядел таким образом: Александру Исааковичу с женой и маленьким ребёнком два раза было позволено посетить дачи высших партийных функционеров на Волге, попить вместе с ними черного чаю с вареньем да погрызть сушек.

Если кому-то из вас этот образ покажется слишком похожим на картинку, украшающую купленный на днях по скидке самовар, смею заверить: так всё и выглядело, точь-в-точь. Молодая пара среди цветущих черновецких садов, те же краски и та же незамысловатость. Они макали сушки в переслащённый чай, косясь на синие автомобили среднего класса марки «Победа», которые стояли в увитых виноградом гаражах и выглядели по-американски. За чаем велись изысканные беседы о русской литературе и о войне между Германией и Советским Союзом. Два раза они поучаствовали в таком действе. После второго раза им дали понять, что больше не видят необходимости принимать гостей вроде них, то бишь голодранцев. Потому как можно быть сколь угодно начитанным, но бедность, из которой пыталась выкарабкаться молодая семья, не скроешь за знаниями русской литературы. Это им дали понять в крайне деликатной

форме. Так или иначе, Этина с Шурой попробовали этой жизни и хотели ещё, стремились к ней любыми средствами, любыми путями, а все пути без исключения вели через партию, в которую они верили всем сердцем.

Потом настал 1953 год, дело врачей, заговор врачей. С трудом верится, но чтобы уволить человека, даже еврея, требовалась причина. В Шурином личном деле в качестве причины увольнения значилось: не соответствует квалификации. Он ушёл, его ушли. Действительно ли больше всего его мучила мысль о том, как теперь прокормить семью, этот вопрос остаётся открытым; по крайней мере, жену его не выгнали и, заведя детской туберкулёзной больницей, она была такой величиной, что могла содержать всю семью да ещё и половину детей у себя в отделении кормить. Шурины глаза слегка навывкате, словно маслянистой плёнкой, подёрнулись глубинным, неистребимым унижением. К тому времени он многое повидал и кое-что слышал, во время войны было пару стычек из-за «жида Фарбаржевича», но никогда ещё от него не отворачивалось государство, никогда не отворачивалась его партия — единственный и подлинный повод верить в будущее после ужасов войны. Зачем будущее, если без партии? Куда же теперь идти, что имел в виду Ленин, говоря «Верной дорогой идёте, товарищи!», если Шура вот оказался на обочине, а партия шагает дальше без него. Без Сталина и без него.

Нашёлся один врач из соседней больницы, который предложил Шуре делиться с ним зарплатой, а Шура в свою очередь должен был взять на себя три четверти его обязанностей. В итоге этот коллега вообще перестал ходить на работу, пусть этот еврей за него вкалывает, и всё сложилось наилучшим образом, потому как единственным желанием Шуры было лечить пациентов, разговаривать с людьми, только бы дома не сидеть, ожидая звонка в дверь, ожидая, что придут забирать его, а не исключено, что и жену, а то и дочь, он знал, что это может случиться в любой момент, и тогда они просто исчезнут, и никто ничего не скажет, потому что все, кто мог бы что-нибудь сказать, исчезли ещё раньше. Дело было не в страхе, ведь страха Шура не испытывал, дело было в отвращении к молчанию на улицах, в коридорах, во врачебных кабинетах, отвращение к этому ощущению, что ты букашка, этому ощущению он не хотел поддаваться.

Шура отметил в записях, которым предстояло стать его мемуарами: «Я всегда предчувствовал, что всё, что происходило со мной, было мне во

благо». Что тут скажешь, настоящий социалист. Он действительно обосновывал на этих нескольких страницах, что славным путём из бандитского района Одессы до одного из величайших имён СССР он обязан лету 1953 года, тому лету, когда он «уцелел, потому что его уволили раньше».

Лето 1953 года выдалось настоящим черновицким летом, асфальт плавился, люди почти не выходили из дома, разве что на футбол с участием местной команды, святое дело. Чтобы перенести палящую жару, все, буквально все в городе ели мороженое на палочке. Скорая помощь стояла наготове перед воротами стадиона, время от времени забирая пациентов с тепловым ударом. Но для того, что произошло тем летом 1953 года, машин скорой помощи оказалось недостаточно: мороженое по восемь копеек ели все, все 746 посетителей стадиона без исключения, большинство по две-три порции. Это мороженое было вопреки нормам произведено на основе утиных яиц, да ещё и срок годности у этих яиц давно истёк. И вот весь город затошнило, во всяком случае, так выглядело и такой стоял смрад всё долгое лето до самой осени.

Два человека скончались от пищевого отравления — это были проглотившие по три порции, где-то у сотни остались последствия, вероятно, у тех, кто съел двойную порцию, около десяти на всю жизнь остались калеками — как только утиным яйцам удалось такое вытворить —, и никто, за исключением одного человека, никто в городе Черновцы до следующего лета не желал прикасаться к мороженому.

Среди отравившихся оказалась и дочь Шуры и Этины Эмма, которой на то время было тринадцать и которая не выказывала ни малейшего интереса к футболу, но любила погулять и побыть среди молодёжи, убегая от душной атмосферы своей полукомнаты в коммунальной квартире, куда вынуждена была переехать семья после того, как отца отстранили от занимаемой должности. Последствий отравления у неё не осталось, её просто тошнило 24 часа напролёт, и ещё несколько дней она жаловалась на жуткие головные боли — привычка, от которой она не избавилась до конца жизни.

Среди отравившихся был и дядя Иосиф, дядя Эмминого будущего мужа Даниила, который в то время ещё таскал в Белзе мешки на своей несовершеннолетней спине, чтобы заработать денег для семьи, прежде всего для своей маленькой сестрѐнки Доры. Иосиф пережил тошнيلовку

без труда и единственный во всём городе на следующий день снова отправился за мороженым.

Необходимо было срочно найти виновного в санитарной катастрофе, случившейся во время футбольного матча, найти того, чья голова полетит в качестве компенсации за отравление целого города. Нет, отравился не целый город, и гильотины в Советском Союзе тоже не было, но, как я уже говорила, русскоговорящие не просто склонны к преувеличениям, они мыслят преувеличениями. Не преувеличением было бы сказать: искали виновного, чтобы поставить его к стенке — выкури последнюю, и порядок. Начальство решило, что этим виновным будет начальник отдела здравоохранения, именно эту должность ещё три месяца тому назад занимал Шура. Но его ведь уволили, его голова полететь не могла.

Теперь эту должность занимала женщина, некая Инна Васильевна Тимошева, имевшая славу железной леди, кстати, должность она получила, не имея ни медицинского, ни какого-либо другого диплома, никто точно не знал как, но таким же образом ей удалось избежать и расстрела. Ей разрешили отсидеть в «комнате» или сослали, но, пожалуй, всё же отправили сидеть, что не обязательно было лучшим из возможных вариантов, по крайней мере, в тот исторический период, да и позже тоже, но всё же и не худшим. Итак, Шура и здесь едва-едва разминулся со смертью. Повезло, что Иосиф Виссарионович соблаговолил отдать концы, из-за чего Шура потерял свою должность, а не голову с кроткими глазами, лиловый цвет которых с годами становился всё более тёмным.

Шура трудился. Трудился спокойно и нелегально на месте своего украинского коллеги, смотря не по сторонам, а лишь вперёд, в будущее, которое обещал ему Ульянов.

Этинька не особенно ценила Ульянова, она не особенно ценила мёртвых, в независимости от того, лежат ли их забальзамированные мумии в открытых гробницах или нет, она ценила только живых и непременно стремилась оставаться среди них. Её воля к жизни покрыла её прекрасное лицо воском, и ей салютовали маленькие пациенты и коллеги в санатории, а кое-кто и на улице тоже, будто перед мавзолеем Ленина.

После войны Этине поручили руководить санаторием для детей, больных туберкулёзом. Если туберкулёз и до войны занимал первое место среди причин смерти в СССР, то можно себе представить, что творилось в стране во время войны и после неё. Можно было бы сказать, люди мёрли,

как мухи, но они умирали не как мухи, люди умирали медленно, харкая кровью, дети с огромными, умоляющими глазами, в которые Этина не смотрела. Ежедневно поступало от пяти до пятидесяти маленьких человечков, в том числе младенцев, которым она собственноручно вырезала туберкулёз из костей и лёгких, как научилась в войну, а потом собственноручно их выхаживала, такая шла о ней слава. На весь санаторий с двумястами тридцатью койками, поговаривали, не нашлось бы ни единого ребёнка, не прошедшего через её руки. И само здание она практически собственноручно построила, постоянно хлопотала о новых пристройках: «Мест не хватает, вы же видите, куда мне детей класть, штабелями складывать?»

Её перевозносимые золотые социалистические руки постоянно были в бирюзово-зелёных перчатках, которые однажды во время операции порвались. Дело было ночью, вспоминала она, было поздно, она даже заметила разрыв, даже увидела каплю своей крови на одной перчатке, на левой. Но она настолько устала, еле на ногах держалась, так что продолжила оперировать, пока хватало сил, а после, выйдя из операционной, упала на диван в коридоре и уснула, не снимая обувь, красные туфли на среднем каблуке, зелёные операционные перчатки она выбросила в мусор.

Она сама первая заметила у себя симптомы. Сначала во второй половине дня стал осипать голос. Её властный, высокий голос, звучавший, будто сирена, когда она чего-то требовала, и будто пушечный выстрел, когда нет, утрачивался, всё слабел и слабел, как голос уставшего ребёнка. Затем увеличились лимфоузлы в паховой и подмышечной области, самое позднее тогда она уже всё поняла, потом добавилась ночная потливость, и озноб, и лихорадка, одним словом, все симптомы, и на переутомление их было не списать.

Она велела загипсовать заражённую руку и сама положила себя в больницу, лечила себя сама, командовала молодыми врачами, давая сильные, но чёткие указания относительно собственного лечения, и одновременно с больничной койки продолжала руководить работой санатория.

Шура сидел в Этиной палате, наблюдая, как она разговаривала одновременно с тремя медсёстрами: одна вводила ей препарат, который на Западе никогда не был допущен к использованию по причине высокой

токсичности, две другие получали приказы, которые передавали дальше в детское отделение.

Этинька оценила свои шансы выжить как один к десяти и прописала себе стрептомицинозидпара-аминосалициловую кислоту, что можно было бы сравнить с химиотерапией Чернобылем, но для этого пришлось бы забежать вперёд, Чернобылю ещё предстояло случиться, сейчас мы приближаемся лишь к концу сороковых годов.

Шура сидел в палате своей жены и молчал. Когда все наконец покинули помещение, она обратилась к нему: «Что ты будешь делать, если я умру?» Вопрос она задала напрямую, склонностью говорить обиняками она не отличалась. Она мыслила и выражалась предельно ясно, всё ещё ощущала заряд бодрости после разговоров с медсёстрами, она была будто подключена к розетке, лицо её вздрогнуло, когда она задала ему этот вопрос.

«Будешь дальше жить, что ж ещё, — она сама ответила наконец на свой вопрос, потому что Шура по-прежнему молчал. — Прекрати так смотреть, мне это не поможет».

«А что могло бы тебе помочь?» — Шура сидел у противоположной стены, ему было запрещено приближаться к жене.

«Пойди с Эммой к Хаве, пусть подстрижёт её».

И вот Шура пошёл. Впервые в жизни он взял за руку свою дочь, которая была немало удивлена тому, что отец с ней куда-то направляется, да ещё и к парикмахеру, к Хаве, которая с мужем Романом тоже переехала в Черновцы и теперь открыла импровизированный салон красоты в собственной гостиной. «Ничего себе! Профессор Фарбаржевич! Выщипать вам брови на переносице?» — пошутила Хава, открыв дверь и увидев оробевшие лица. Шуре было неловко. Волосы ему всегда стригла Этина, а к бровям его ещё ни разу никто не прикасался. По его мнению, негоже социалисту посещать такие места, через щель между дверью в ванную комнату и душевой занавеской Шура даже увидел, как мелькнула голая женская нога, внезапно в голове всплыло воспоминание о товарище девушке с пионерски-алыми губами, рядом с которой он ожидал вступительного экзамена в актёрском училище, куда ему так хотелось поступить. Он усадил свою дочь, волосы которой и в самом деле напоминали воронье гнездо, в парикмахерское кресло на балконе и скрылся на кухне.

Шура смотрел на свои коротко подстриженные ногти, на свои наполированные до блеска ботинки, он смотрел на тикающие часы на стене, искривлённая стрелка которых царапала циферблат, и думал о том, что вообще-то ничего не будет делать, если Этина умрёт, вообще ничего, потому что такого не произойдёт, потому что такого не может произойти, это абсолютно невозможно, тут и думать не о чем, не оставит она его одного, слишком развито у неё чувство долга.

Он оказался прав, Этинька не дала себя сломить ни болезни, ни ядовитому лекарству. Говоря об этом, она использовала выражение «подняла себя» — вытащила себя, как Мюнхгаузен из болота. «Смешно было бы», — поговаривала она и действительно смеялась, а муж робко поглядывал на неё со стороны, в то время его глаза уже были цвета ежевики, а трещинки в уголках рта посерели.

Этина в супергеройстве совершенно не уступала супругу. А что ей ещё оставалось делать, она войну пережила и дочь выходила, которая с рождения была обречена на смерть.

Эмме, дочке Этины и Шуры, к моменту Этиной болезни исполнилось семь лет, и она не видела матери почти год, что не очень её тревожило, ведь у них никогда особо не было общих тем для разговора. Рядом был отец, пусть и блуждающий в заоблачных далях науки, но зато излучающий такое спокойствие, которого Эмме было вполне достаточно. Вообще самодостаточность была её подлинным талантом. Она была хрупким созданием, склонным к головокружению, любила читать, прежде всего поэзию, заучивала наизусть целые страницы, немного играла на пианино, немного в театре, часами сидела перед зеркалом, запуская пальцы в свои недавно подстриженные пепельные локоны, и никому бы в голову не пришло сказать, что она была интересующейся девочкой, которой были небезразличны общественные вопросы, и уж тем более, что что ум её занят политикой, но когда в 1953 году пришла весть о смерти великого вождя Сталина, она к удивлению всех (няни Алины, поварихи Дарьи, но, прежде всего, к удивлению обоих родителей, которые — исключительный случай! — были дома) упала в обморок, почувствовав, что это событие имеет большое значение и, вероятно, не предвещает ничего хорошего.

Родители впоследствии так описывали этот эпизод, будто это была часть биографии настоящего советского ребёнка, пионера, страдающего от

неизмеримой утраты и, разумеется, готового отдать жизнь за великого вождя. Но свершившегося было не вернуть, и все дети Советского Союза осиротели навсегда.

И для Этины 1953 год прошёл не иначе, чем для всех еврейских врачей: её уволили. То есть собирались уволить, и соответствующие бумаги уже лежали в кабинете руководителя областного управления здравоохранения, и он их подписал, даже не взглянув на имя. «Поснимать» — вот каким понятием оперировали в те годы. Даже мелких рыбёшек на окраинах города и в деревнях в отдалённых уголках великого могучего Советского Союза надлежало «поснимать», будто ставшие негодными портреты, по крайней мере, такая ставилась цель.

В случае Этины Натановны Фарбаржевич ситуация развивалась иначе. Первый секретарь обкома партии Раиса Филатова лично занялась этим случаем. Здесь необходимо упомянуть, что в русском не существует обозначений женского рода для врачей, педагогов и многих других, поэтому они все были в устной и в письменной речи мужского рода, что придавало их профессии чуть больше жёсткости, которая очень даже шла женщинам Советского Союза. Где ещё вы видели таких испытанных голодом, бомбёжками и возвратившимися с войны мужчинами, эмоционально очерстевших мастериц на все руки, которые не требовали ни обозначений женского рода, ни феминизма, ни антидепрессантов. На определённые вещи просто не хватало времени, нужно было выхаживать угнетённый народ, покалеченного мужа и, прежде всего, собственных детей. Именно такой была Раиса Филатова, которая ударила по столу, услышав, что товарищ Фарбаржевич с сего момента уволена. Она ударила своей массивной ладонью по массивному деревянному столу и закричала: «Никогда в жизни её не отдам! Хотите, чтобы десятки детей поумирали или что, хотите смерти всего Союза, моей смерти хотите, мать вашу, что это будет?». Разговаривать тут было не о чем. Расцеловать бы покрасневшие руки и щёки Раисы Филатовой за это. Было бы тогда побольше таких, как она.

Таким образом, Этина осталась, и продолжала руководить санаторием, и могла бы сделать большую карьеру, поговаривают, её кандидатская была получше Шуриной, поговаривают, и она могла бы совершить открытия, кто знает, на что была способна эта сияюще горделивая женщина с неизменно собранными на затылке волосами, но

она сделала другой выбор: решила стать супругой великого человека, а не великим человеком. Потому что она знала, что ради этого пришлось бы идти по трупам, а ей как женщине — по обнажённым мужским телам, а об этом для неё и речи быть не могло, не в том объёме, в каком потребовалось бы, неизбежного ей было уже вполне достаточно.

Работая на нелегальном положении на не принадлежавшем ему месте, Александр Исаакович Фарбаржевич начал карьеру учёного, которая стремительно пошла в гору. Он решил написать кандидатскую диссертацию, нашёл научного руководителя, о котором шла молва, что он покровительствует евреям, и тот то ли что-то разглядел в Шуре, то ли просто мучился совестью, потому что никто не знал, что его настоящая фамилия была Перльман и во время войны он за пару рублей поменял её на русскую. Этот покровитель евреев занялся Шурой, продвигал его, где только мог. Работа Фарбаржевича о пролонгировании действия пенициллина в глазу стала сенсацией. Путём наблюдений Шура обнаружил, что слёзная жидкость спустя полчаса вымывает закапанный в глаз пенициллин, и разработал метод размещения под веком полупроницаемых капсул с действующим веществом. Так ценный пенициллин сохранял своё воздействие до двух дней. Метод стремительно распространился по больницам Советского Союза и ознаменовал новый этап в лечении глазных болезней в последующие десятилетия. До сегодняшнего дня метод используется во всём мире для введения офтальмологических препаратов.

Академик Фарбаржевич в то время за права на своё изобретение получил сорок рублей и знак отличия. Разумеется, никакого патентного права не существовало, даже мысли такой не могло быть у отдельного человека, который должен был целиком отдать себя служению на благо народа, стремящегося к победе коммунизма. Но помимо небольшой суммы денег и медали к нему пришла слава, первая большая слава. Люди узнавали его на улице и пожимали ему обе руки. Вот в чём была прелесть деревенской ментальности советского человека и его склонности подчиняться авторитетам: успешного врача чествовали, как на Западе чествуют кинозвезду. И сорок рублей на то время были не такой уж и незначительной суммой. Врач за целый месяц получал шестьдесят плюс дополнительные благодарности в виде конфет и крепких напитков, на это и жили, если и не хорошо, то всяком случае небедно.

Его следующее открытие было связано с диагностикой сетчатки посредством дисперсии света. Шура обожал различные спектральные зоны, любил интерференционные фильтры, обожал узкополосные фильтры, фильтрующие пластинки: бескрасная, красная, пурпурная, голубая, жёлтая и оранжевая — успокаивали его. Идя по улице, он выглядел безумцем из-за своих широко распахнутых глаз, он смотрел по сторонам, часто, казалось, не слышал, если рядом с ним о чём-то говорили. Кроме того, он не мог продолжительное время фиксировать взгляд на каком-либо предмете. К тому времени он уже превратился в самого настоящего наркомана, сидел пока не на кокаине, но уже давно и не просто на таблетках кофеина. Он постоянно генерировал в голове новые идеи, изобретал, придумывал, всё не хотел останавливаться, вспыхнувшая жажда славы смешивалась с верой в то, что он в самом деле меняет мир своими исследованиями, делает его лучше, спасает народ, что для него было сродни полёту в космос. Всё реже удавалось достучаться до него другим людям, он отдалялся от повседневности, часто раздражался, отказывался разговаривать о межличностных отношениях. Следующее его изобретение произвело эффект, будто упавший метеорит, и Шуре позвонили от партийного руководства сообщить, что ему надлежит явиться к художнику такому-то, который напишет его портрет для городского музея, как и положено всякому заслуженному товарищу.

Это был первый Шурин портрет, за ним последует ещё много. И бронзовые бюсты с головой больше натуральной величины, и снимки процесса создания этих бюстов, которые опять-таки оказывались на других стенах. Ни один из портретов не смог передать его лица, ни один не мог сравниться даже с той фотографией с Афанасьевым, которая стоит на моём недействующем камине. Ни один из них не показывает растрёпанного мальчишку, который, постарев, сидел напротив меня за чаем с айвовым вареньем в своей квартирке в новостройке в Нижней Саксонии, в бежевых брюках и жилете из овчины, и улыбался так, как умел улыбаться только Шура.

Я спросил его, почему после первых надписей «Жид Фарбаржевич, убирайся в Израиль!» он не собрал нас всех в охапку и не свалил из России. Он, человек с таким именем, которое знали даже в Америке, мог бы без труда вывезти нас из страны, он получал приглашения даже из Нью-Йорка.

Шура пожал плечами и сказал: «Потому что я верил, что они найдут виновников, пачкающих стену в нашем доме. Милиция же подключилась».

Этя громко выдохнула: «Глупости! Лучше всего сказал наш дворник Петя, подметая передо мной улицу, он сказал: «Милиция ищет? Кого они ищут? Они меня спросили? Я пальцем могу показать, кто это был, но меня никто не спрашивает». Ты не хотел уезжать, потому что знал, кем ты там будешь, — никем, и мы все ничем. Как же, верил ты в будущее страны, ну вот оно, будущее. И что ты сейчас имеешь с него? Сколько мне ещё слушать эти сказки!»

Мы с Шурой молчали и оба смотрели на полиэтиленовую скатерть, Этинька сделала большой глоток чаю и не обожглась.

«Я каждый раз просила закрасить эту мазню, так часто, что маляры, я помню ещё, что их звали Гена и Лёля, пришли ко мне и говорят: «Этина Натановна, мы с удовольствием это для вас сделаем, мы руки вам готовы целовать, но не лучше ли вам просто уехать? Потому что это не прекратится, вы же сами знаете, и фасад ваш скоро будет выглядеть так, будто у него опухоль от слоёв краски».

Мы довольно долго молчали, потом Этинька взяла моё лицо в ладони и провела большими пальцами по щетине на моём подбородке и над верхней губой. Она долго смотрела мне в глаза, я видел, как она пытается что-то понять. Потом она взлохматила мне волосы, погладила затылок, встала, и за то долгое время, которое ей понадобилось, чтобы выйти из комнаты, я увидел её почти полную сотню лет. До этого не видел, до этого, сидя, она выглядела как та самая товарищ Фарбаржевич, у которой под мышкой с одной стороны весь детский санаторий, с другой — супруг, дочь и Советский Союз. Время давало о себе знать, лишь когда она вставала. Когда она вышла, Шура подошёл к своему секретеру. Он передвигался не быстрее своей жены, и он — век во плоти. Брюки под пупком шли складками, держались только на широком чёрном кожаном ремне. Он всё худел и худел. Он копался в своём письменном столе и, пока искал, всё что-то бормотал, я не мог разобрать, что он говорит, такая у него появилась привычка: беседовать с самим собой или, как он выражался, «с другом». Затем он вытащил из ящика стола рукопись в десять страниц и положил на мою тарелку с кучей крошек — мемуары, которые он начал набирать на компьютере своей внучки, сохранять и по частям распечатывать. Всего лишь десять страниц. Больше у меня нет, к

сожалению. И мне бы хотелось, чтобы Этинька тоже оставила какие-нибудь записи.

Но Этинька в дневники не верила, не верила то ли в письменную фиксацию воспоминаний, то ли в значимость своего взгляда на вещи. И хотя она никогда об этом не писала, ни для себя, ни для других, о ней сохранилось воспоминание, что она всегда мечтала спеть на большой сцене. Мне она ни разу об этом не рассказывала, я слышал это от её дочери Эммы. Не то чтобы Этинька когда-то пела. Она никогда не брала уроков, никогда не пыталась петь, ни дочь, ни супруг, ни друзья не слышали, чтобы она хотя бы вполголоса напевала (когда пел Иосиф Кобзон, тут уж да, бывало, что у неё на глаза наворачивались слёзы, но такое случалось со многими), но якобы она всё отдала бы, всё, чего достигла в жизни, чтобы один раз постоять на сцене, утверждала её дочь. Должен признаться: когда я услышал это, у меня возник вопрос, а не говорит ли Эмма на самом деле о себе самой.